



А. Я. ЛЕВИНСОН

Николай Гумилев. Костер.

Стихи. И-во «Гиперборей». П., 1918 — Мик. Африканская поэма. И-во «Гиперборей». П., 1918 — Дитя Аллаха. Арабская сказка в трех картинах. С тремя рисунками П. Кузнецова. Отд. оттиск «Аполлона». П., 1918, ц. 6 р.

Три книги: эпическая поэма, драматическая сказка, сборник лирических стихов. Слишком обилён этот вклад Гумилева, чтобы я чаял взвесить его в столь краткой памятке. Мне остается лишь внести его в опись нашего поэтического достояния. И это тем более, что Гумилевым владеет возвышенное и строгое сознание предназначения поэта, устремление к «величью совершенной жизни». Его «Костер», последовавший за радостно-фантастическим «Колчаном» первого года войны, рисуется как эпизод, довольно краткое (в нем 29 стихотворений) *intermezzo* *. Душа, возвеличенная жертвенным подвигом воина, вновь погружена в марево северных туманов, в чистилище смутных кошмаров, над которым лишь в высоте сияет воскрылие серафимов (бесконечно любимый Гумилевым образ). Он сам ощущает «Костер», как «зловещую ночных видений тетрадь»¹, томится в своем гиперборейском изгнании², ибо кто он, если не

«...Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья?»³

И не тот ли это очистительный костер, из пепла которого, по ветхому уподоблению — должен грянуть Феникс?

Я обнажил, мне кажется, интимный стержень нового цикла. Между тем, Гумилев слыл и слывет у многих *парнасцем* по содержанию и форме, т. е. безличным и педантичным нанизывате-

* интермеццо (*ит.*).

лем отраженных чувствований, собирателем живописных эпитетов и радостных звонов. Не может быть большего заблуждения. Лиризм его — выражение сокровенной и скрытой чувствительности; другой в нем признак душевного волнения его юмор, юмор без широкой усмешки: Гумилев улыбается одними глазами. Да, конечно, он мастер и фанатик формы: но, что есть поэзия, если не постижение мира через образ и звук. Потому же повторный, омертвелый образ, подсказанный памятью слуха или привычной ассоциацией, перестает быть поэзией. Но творческая новизна образов Гумилева блистательна. Он помнит, что

«Лишь девственные наименованья
Поэтам разрешаются отсель»⁴.

Магия поэтического воображения в том, что стихотворец словно *впервые* вскидывает глаза на весь предметный мир, — впервые, как африканский мальчик Мик в африканской роще. Что до формы, Гумилев и точно блюдет закон стиха: его размер. Но какие бури ритма могут волновать его стих среди гранитных набережных метра, об этом свидетельствует для примера хотя бы его «Самофракийская победа»:

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами —
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

Схема проста и устойчива; но шаг обращается в лет, стих обращен в мрамор, но мрамор взмывает ввысь. Африканская поэма «Мик» вся изложена рифмованными четырехстопными стихами, бодрыми путниками с легкой ношей. Как описать мудрую *детскость* этой эпики, где радость от тривиальных подробностей экзотического быта граничит с жизнью тропической чащи, Майн-Рид⁵ с седым мифом, где в недра дикарской преисподней нисходят отсветы христианского рая.

Арабская сказка «Дитя Аллаха» возвеличивает в форме драматизированной притчи призвание поэта. Образ князя Гафиза окружен целым сонмом воспоминаний: фигурами «Тысяча и одной ночи», преломленными через философские сказки Вольтера, веяньями Западного ветра, как он воспет в «Диване» Гете⁶,

арабесками и эмалевой расцветкой персидских миниатюр. На всех этих пахучих травах настоялся ароматный финал сказки Гумилева. Поэт дал остроте его выветриться, яри его потускнеть, словно от времени, прежде чем вручить его нам.

Таковы три новых произведения этого одетого в холод пылко-го поэта, чья муза всего больше напоминает мне волшебный вымысел одного известного фантаста: красавицу, заключенную в льдистую глыбу.

